Таша КАПИТОЛИНИНА (г.Москва) **САНЬКА**



1

Темным дождливым вечером вся семья сидела на веранде вокруг стола и чистила грибы. Стол был накрыт газетами, посредине стояла керосиновая лампа. По углам веранды залегли тени…

Санька знает все наперед: желай не желай — не бывать больше этому!

И остались позади усадебное приволье, разнотравье да вишенье, дом с наличниками и бабушка, вечная печаль. Да память, что нет-нет да карточку-картинку на ломберный столик выкинет.

А то еще была зима — захватила врасплох, и на заштрихованных белым обуглено-черных яблонях застыли мерцающие стеклянным свечением шары. Весь август – сентябрь по яблокам буквально ходили, ноги весело разъезжались, оскальзывались, и тянуло ненасытно снова и снова взламывать хрустящую наливную крепость.

А Москва — а что Москва? Ласковая мачеха. Обхватила – окрутила, подхватила, вихрем подняла, с три короба в уши нашептала — напророчила. Сбылось, не сбылось — в обиде не оставила: ларцы да дверцы, потайные слова да жарынь-птицы… Хошь не хошь, а себя найдешь. А уж каким да как себе глянешься таким-то разэтаким — не обессудь, не спрашивай. Уж как скроен да стачан, наметен да замешен, то не ее, Москвы то ись, лихое дело, ее беда-забота — сострочить да выпечь, пригрозить да высечь. Полно, Санька, не горюй. А она и не горевала. Случалось, конечно, и взахлеб и навзрыд, да про то одна Москва и знает. А ее, богу слава, слезьми-то не возьмешь, Москва и есть Москва, — нагляделась, наслушалась — слезам

ли

верить...

Вот и Санька думала в тот морозный день, что и дышать больше не сможет. Как землю долбили — искры от лома отскакивали. Ноздри слипались, вломило под… —столбика в термометре едва хватало, и вслед за старшими Санька в душе молила: «Мужики, не подведите!» Не подвели, ни вот столько от двух-то метров не отступили. Санька, уж попрощавшись, перед тем, как гроб закрывать, опять припала к пергаментному лицу. Не в исступленьи, не в забвеньи себя, именно это только и хотела: еще раз, в самый последний, перед тем, как непоправимо навсегда, в никогда, навечно… И вызверилась, ощерилась, когда кто-то чужой, из поминальных завсегдатаев, бросился свою игру разыгрывать — причитать да оттаскивать.

И потом еще сколько недель подряд выгадывала минуточки, чтоб остаться в доме окончательно одной, так, чтоб уверенной быть — не вспугнут, не помешают, не застигнут. Проверяя на отзывчивость звенящую тишину, всхлипывала: «Где ты?» И подождав, погодя — снова: «Где ты?» Брела неприкаянно к осиротевшей кровати, встав на колени, обнимала изголовье и оглашала рыданьями неотзывчивую пустоту. Или во дворе, прижавшись спиной к промерзшей поленнице, раскинув руки, искрививши до безобразия лицо, выла страшно, безмолвно, безголосо и безутешно.

И оттого, когда громом среди ясного неба грянуло: и Санькину школу летом закрывают, и мама — учителка — немка теперь без работы, а в городишке и санитаркой теперь не зацепишься, и получается один выход — все продавать да ехать, а и некуда и не к кому, Санька приняла случившееся как знак милосердия. Кончилась же здесь жизнь, кон-чи-лась. Вот и весна прошла пресная: цвело — мрело — грозами полоскало — соловьями ухало — да все мимо Саньки. Ее хвалят, как чередом да ухватисто,

по-бабушкиному в огороде по земле управляется: межу ли оправит, рассаду ли выведет, а она только кривится, точно вожжой по спине вытянули.

И все-то ей не благоуханье — запахи, не переливы — звуки.

— Едем, — мысленно поторапливает Санька мать. — Едем.

И уехали. Точно сбежали.

И рухнула Москва к ним в объятья! Запричитала — слезливо, заполошно — театрально! Черт те что: ошалела, задушила, затискала. Подолом лоскутным, васильблаженным заполоскала, жаром-лаской обдала, сама размякла, да и их разнежила, а минутку погодя враз и отвернулась, как и не была: у Бога всего много, ступайте, падчерицы!.. Чтоб ей ежа против шерсти родить!

И понеслись квартиры, квартиры, квартиры, станции, станции, лица, лица, лица … А уж обид, обид, что палого листа в Нескучном саду! Марина-мама орлицей крылья вскидовает, все оперенье в лоскут посечено, да разве ж за лубяным щитом липовой регистрации в задир идти? Вон они, горемыки со всей России, в метро с баулами маются: неделю переезжают, три живут. И опять — вот вам бог, а вот порог. Нет, не обидели, нет, не нарушили, нет, вовремя и исправно, да. Только нам столичным пресненько — все чего-то в новинку да в кислинку хоцца. Сле-ду-ю-щий!

Только школа у Саньки как была, так и осталась та самая, первая, имени погибшего журналиста. Как предчувствовала Санька, что не слюбится, не сладится все по первому разу. На то и вышло. Накануне намечтала себе деда-героя. Вот надел он свой выходной Армани, не поленился над сердцем знаки-ордена прикрепить. Подогнал стального окраса Nissan к самым воротам школы и, пока шел от ступеней крыльца, зажав в железной горсти Санькину лягушачью лапу, под дулами заряженных картечью взглядов неистовых пубертатных московитов, не оставляя ни малейшего шанса, вещал с

чистейшим оксфордским произношением о предстоящем им праздничном обеде в ресторане «Прага». Тут Санькины проблемы и кончились, не успев начаться.

А в яви получилось — ну просто свернись в узелок и спи!

Марина-мама все выслушала и постановила: во-первых, Санька, у тебя все углы острые, во-вторых, почерк у тебя и правда — код наваху (если всем понятно, это неправильно? жаль и сама с трудом понимаешь написанное), в-третьих, а ему, ты думаешь, легко было? С маменькой — одна досада, рара — жадина. Жа-ди-на! Соблаговолите принять бальные туфли моей молодости! С пряжками! Что? Человека делает дружба? Что бы он такое был без «друзьямоипрекрасеннашсоюз»? Человека, Санька, делает умение отказываться и сопротивляться

обстоятельствам… Ладно, поехали.

Поехали на Павелецкую — купили chesterовские башмачки и самоучитель Бонка.

Санька отмякла. А потом за кофе и мороженым в Macdonalds возьми и расскажи, как почти перед самым отъездом в Москву у дальней родни в деревне была.

Чердак-то пы-ы-льны-ы-й, свет снопами из окошка прямо в глаза! Вдруг смотрит — книжка боль-ша-а-я валяется. Бросилась Санька за добычей, тут враз ее по голове, в лоб ударило и из глаз искры полетели. Звезды — снопами, снопами! Санька скорей присела и ну руками искры прибивать — гасит, чтоб не вспыхнуло. Там же опилки поверх земли толстым слоем насыпаны. И все сухое-сухое. Ужас!

Марина останавливает:

— Саньк, ты заливаешь. Искры-то из глаз?

Санька кивает:

— Из глаз.

И помолчав:

— Хорошо тебе рассуждать. Я задним умом тоже крепка. А тогда думать некогда было. Ты ли пожара в деревне не видела? А там кошелки пеньковые, лапти, дерюжки! Все сухое-сухое!

И закинув голову, кудахчут от смеха. И Санька между приступами вставляет:

— Это ж матица была! Я ее против света не увидела и лбом протаранила!

Потом, угомонившись, сидят молча.

— Книжка-то того стоила? — наконец говорит Марина.

Санька, загипнотизированная виденьем, коротко кивает:

— Пушкин.

2

Пушкин примирил ее с Москвой.

— Санька! А погулять?! С мальчиками!

— Не, мам! Я с Пушкиным.

Прогулки. С Пушкиным.

Пушкин-то?! Сказки писал, стихи, да все на свете писал. Была у него красавица жена да четверо ребятишек. Он их так и называл: Сашка, Машка, Гришка, Наташка. А дальше? А дальше — колдун мутноглазый. Дантес называется…

А еще? Еще? Одним, чтобы быть свободными, надо надеть маску. Другим, наоборот, снять. А иные с рожденья свободны, как… вот как трава. Это и есть — Пушкин. Пушкин, он — все. Он везде.

И Саньке хорошо с ним. Им вдвоем хорошо.

Весной в Сокольниках в черных лощинах с черной водой. А черпнешь — враз серебряная. Весело указывать друг другу на истлевшие за зиму стрекозиные крылья слюдяных курносиков, и на ивовые сережки, насборенные из дымчато-зеленых конусов. Ты заметила? — Клен и вишня зацветают одновременно. Да, сбрасывают лаковые кофейные скорлупки. Скорлупки? — Клювики. Как хорошо — клювики! И подвески, нанизанные из желто-зеленой пыльцы. И новые клубочки папоротника. Все высохло и не звенит — терхает глухой жестью. Но подожди, подожди!

И первая — о чудо! — поливочная машина. И бодрящая скипидарная вонь от свежевымазанных бордюров. И бомжиха, ужарев, рассупонивает за углом свое страшидлое тряпье. Отвернись, судорога!

Плюнь, Санька, не со зла же! Глянь-ка: там, вдали от тепла, сквозь дегтярный лежалый лист пронзилась салатовая травяная шпажка. А на алюминиево-мертвых прутьях — какого? — какого-то дерева выстрелили редкие да живые зеленые розетки. И вон как стянута в узел вверху у горизонта трамвайная колея!

Хорошо? Хорошо, Санька!

Хорошо и летом в Серебряном бору на обсыпанной золотом малахитовой просеке. И под желтым лохматым солнцем среди зеркальных луж и омытого асфальта, сплошь запорошенного желтой россыпью кленового цветения. Пышный зеленый прибой до… до … до. И по водной глади золотые головки обойных гвоздиков. И зеленая-зеленая зелень! Да пунцовое и алое в цепкой путанице шиповника. И рядом гривки ковылька и тимофеевки. Описать нельзя — можно только любоваться!

И — приготовься, Санька! Готова? Ба-а-л! Бал! Осень!

Стоит жить целый год, чтобы снова добраться до Осени…

Стоит жить целый год, чтобы снова добраться до Осени…

Вот и обдало лисьим жаром от подлеска с рыжими подпалинами. И порскнуло сдавленной пичугой сердце. Поплыли вспученные рыбины филалетовых туч, и потом чье-то бессвязное очейочарованье. Утвердился под сутулым небом не порванный непогодой забронзовелый куст. Вот и сухие тени полощут по асфальту, острыми наконечниками царапается ясень. Кланяются обугленные будыльки пижмы. Тронула кромки разбежалая алость. Сверху дымные тучи, у ног пестрый полог — свернулись в трубку шелковые лапки. Потом и хмурость растащило, вспыхнули феерические краски заката. Заворошились в кустах такие русские в цветовой своей сдержанности воробьи.

И поплыли из вагонного окна липы, еще обрызганные желтым, усталая зелень, опять хмурая небесная рвань, и замелькали, замелькали бурые скатки слипшейся лежалой л иствы, и на клумбах цветные опилки, и промоины и колдобины, нарытые временем, и чувства, чувства, чувства из самого подвздошья.

Стоп! Птичка. С палевой нежной-нежной шелковой шерсткой. Санька поначалу так и подумала — шерстка. С черным носом-носочком и розовыми надбровьями. И крошечный угольный плюмажик над ними…

А скоро!.. А там!.. А вот-вот въедливые метели и ватные снегопады! И празднуй, Санька, двоюродная варежка пушкинской шубе! Самый Новый год!

Пушкин — он не знает запретов. И все-все при нем приобретает форму иль выливается из границ.

Усядься, муза: ручки в рукава,

Под лавку ножки! не вертись, резвушка!

Хочешь за ним следом взвиваться пухом, выписывать по городу завитушки и вензеля, настигая расторопной мыслью все на свете: дерзкий слоган, детскую одинокость, театральное — в метро, напоказ — чужое волнение в крови?

Так возьми, так решись, так шагни в зыбкую, ныряющую под тобой дюймовочковым перерostком грецкую скорлупу, чтоб — не может быть! — устоять, держась даже не за взгляд, а за перисто тающий след

его просвистевших

на

пути к морю упругих волнообразных

строк —

Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Протяни руку судьбе, Санька! Доверься! Оставь, не ворочай камни мирозданья. Растворись в предложенном. Вступи с благоговением на заповедную тропку только твоей сказки. Она только тебе и предназначена, только тебе ее и проживать, прясть нить пестрой канители твоей жизни. Ты покружи-покружи у развилки, на выходе с полянки, попыхти да потужься мозгами — не в дровах же ты их нашла! — а потом и шагни безмысленно, не мудрствуя, как сердцу ли, животу ли глянулось. Слушай судьбу, Санька! Она уже в тебе.

«Нечаянный случай всех нас изумил», — говаривал Пушкин.

Верь, Санька. Уж его слово крепче гороха.

В случай ли, в анекдот, в заячий тулупчик.

C est la vie.

В востроглазую судьбу. Не мудри да не умничай. Покойных и беспомощных ей ли обойти.

Скользи легко и вольно в пестрой веренице чужого праздника.

Авось, и на тебя пожалуются: «Странное смешение в этом великолепном создании!»

Бог даст, и тобой восхитятся: «Странное смешение в этом великолепном создании!»

Расположи душу к живейшему восприятию впечатлений.

Не бойся пустоты. Се — сосуд. Полноты ищущий. Пространства! Полета!

Не бойся подлой прозы жизни. В ней к Белкину ближе. К Чехову.

Будь аристократична. К первому же ясеню подойди и поклонись: Здравствуйте, а я — Санька!

Хорошо тебе, Пушкин! Вот ты уж и нарицательный — сам себе чин, звание, престиж и должность: здравствуйте, а я — Пушкин!

А ты попробуй, Санька! Анонимность ваша — в таком-то городе! — уж и не щит — меч стала. А ты выходи из дома как к колодцу за водой: встреча — событие. Ну как, ничего? Дурного ничего? Видишь? —

со-бытие…

Не тулупчик дорог. Плечо. Жест.

Возлюби, как самого себя.

И в театре вашем московской самозваной пугачевщины, в дворцах-избах, золотой бумагой оклеенных, ищи наперво рукомойник на веревочке — вода ли выдаст…

Да, вот еще что. Целовалась ли Натали с прекрасным кавалергардом? Я смертью своей завещал — не целовалась! И быть по сему!

И так год за годом, год за годом — один — оголтелый — Пушкин!

3

А время — на то оно и время! Время свое взяло. Вон дни идут, и-дут, и-ду-у-т, а оглянешься — разлетелись, отскакивая жареной кукурузой!

Теперь Санька о себе так понимает: Санька — «Улисс», сама себе форма — идея. Вот это долгое тело, припухлые губы, пшеничная волна по плечам — она. Но это не совсем она — она шире этой нелепости. Как есть книги из слов, а есть сквозные, где содержимое больше слов — символов.

Гасит в комнате свет и замирает у окна. На площадке у дома всплескиваются и гаснут п оследние детские крики.

В кухне готовится новогоднее застолье…

Все как во сне — жизнь и смерть равны друг другу… Кому под силу полюбить то, что осталось от меня?.. Парить вне скреп, зацеп зависимостей, принадлежностей, классификаций… Двор в оленьих рогах. Заснежен. Заворожен. Московский дворик.

Чу, шум дождя накатывает издалека прибоем. Вот! Вот! Ну! И наконец нахлынул, облюбовав наш с бабушкой сад, и, выстукав прелюдию по карнизу, остался в нем до обеда. А когда ты смотришь в сад, ты и вовсе становишься невидимым. Жизнь разворачивается во всей простоте, а тебя будто нет.

Саньке тонко. Смутно. На сердце весело — тревожно. Дождь лупит по окну.

А это? Стволы. Стволы, отсчитывающие такты. Ствол — такт, ствол — другой. Глянешь вдаль — нотный стан натянутых проводов и тактовые черты распялок.

Откуда мне знать, что я вижу? Какой из эпизодов станет в следующей жизни основным?.. Вон и Пушкин прыгает и скачет, гуттаперчивый и грустный, как Бастер Китон.

Если родное — ветошь, если чужое — обноски…

Смутно Саньке. Тонко.

Оттого часто достает с полки Питера. Старшего, мужицкого.

За двести лет до нашего, архангельского, сам себе фламандский Ломоносов.

Грубая вещная жизнь. Тяжелые ткани. Жесткие изломы одежды. Бесполая обувь.

Как это у него получается? Вот, например, «Возвращение стада». Что здесь такого? Коровы. Их крупы и устойчивые задницы. Откуда ж у меня, у зрителя, думает Санька, выздоравливающая уверенность в незыблемости мироздания? В то, что так, как здесь, в землистой и серо-зеленой гармонии мир будет существовать до века?

И вечен будет круг сезонных работ. «Сенокос», «Жатва»… Благодатный жар и золото созревших полей. Ритм обыденного мужицкого труда: широкий замах косца, грузная пластика крестьянки со снопами… Приземистые, плотные, почти квадратные хозяева земли.

Саньку не собьешь. Это и есть рай. Пульсация бьющей в височную косточку упрямой крови. В раю водят хороводы, играют на волынках, ткут, мечут кости, пашут, жнут. Жизнь и суета жизни — одно, общий исток бьющей природной энергии.

Как «Страна лентяев» — это ад. Никому недосуг дорезать бегающего с ножом в боку поросенка. Вечный обморочный сон праздной сытости.

Мастер Питер — Шутник. Питер — мудрец.

Он и библейские сцены разыгрывает на фоне фламандских пейзажей.

Почти потеряна среди пестрого люда согбенная фигура Спасителя с Крестом. Заткано ватой снегопада поклонение волхвов. Именно так все и было: бегство, хлев, труды и искушения, упреки в гордости, наглый смех… А по-воловьи набухшие от тяжести на лбу

и на руках жилы с десяти шагов уже едва различимы. Вот и катится, незатейливо обтекая Его и Крест, рядом и дальше своим вечным чередом живая, многоликая река

Жизнь. Ни эйфории, ни унынья. Ни раздумья.

Санька, как и Творец, смотрит с самой высокой точки на цепи скал, долины, морские просторы, горизонты, горные потоки — на все, что сплавлено в космос земли.

А в кухне вон готовятся к новогодью, а все о своем… Бандерлоги… Оппозиция… Отсутствие программы…

И каждый из московских вождей, додумывает Санька, — брейгелевский Икар, обреченный по-мальчишески взбрыкнуть ножками в морской пучине. Оттого что только в согласии с природой, с народом, настигая могучий мировой ритм, добьешься успеха.

…Если мне не изменяет память, вы в свое время работали на радиостанции «Свобода»… Так вы там работали, а теперь возглавляете общенациональный канал рос сийского телевиденья. Это ли не признак либерализма?

... Вова, отойди от больной матери!

… Женя, выключи! Это, Марина, Vox Humana, премьерзидент! Ага, выключи, пожалуйста, этот яйцещемящий Vox Humana! Все, все, выключил! Санька, иди праздновать!

Вот и мама с дядей Женей неуловимо другая стала. Прямая, строгая, а светится, точно свечечка. А может, просто время. Вон и Саньке в школе теперь хорошо живется. Но брови всегда наготове…

Санька! Праздновать!

Праздновать, так праздновать…

Винцо живенькой мышкой-норушкой шмыгнуло куда надо. И сразу потеплело. Пока в желудке.

— Ну, девчонки, чтобы жили мы спокойно-спокойно, но совсем не скучно! Чтоб не все на свете принадлежало кому-то другому! Чтоб, как и хочется Саньке, она в этом году поступила в медицинский и стала кинорежиссером!

— Мам, ты его любишь?

— Саньк, прямо при мне?

— Мам?

— Люблю? Ничего не имею против.

— Да, Марин! Как хочешь, так и понимай!

— …Так на чем мы остановились?..

— …Что политика — в столицах, в провинции — растения… Что до декабря мы думали,

как под маленьким полковником и его яйцеголовой свитой утратили способность к прямохождению… Что они — это Что, а мы — это Где…

— …Бог с ними. Праздник же… И среди них попадаются люди.

— И у них была мама? Нет, девочки, бывших разведчиков не бывает.

— Не горячись. Вот Кудрин…

— Политическая Швейцария? Кому попало казну, бандитско-чекистский общак не доверяют. Вот и жили: кому — все и даром, кому — монетизация льгот.

— Счастье, и за что оно такое нам?!

— Все не так плохо, как пишут, все гораздо хуже. Впереди разобран мост, а паровозная команда гуляет в вагоне-ресторане…

Санька подходит к окну. Фонари ткут и ткут, выткали целые дорожки.

— Что там, Саньк? Гуляют люди?

Санька кивает:

— Пипл. Твоя очередь, дядя Женя.

— Охлос.

— Спецнарод.

— Homo Electoratus.

— Быдломасса.

— Расчадились, огарки.

Жмут друг другу руки.

— Девочки, поговорим светски, без надрыва.

— Светски, говоришь? А что мне делать, Жень? Я верю в митингующих, а в митинги не верю. Я не верю в перемены. Одна автократия сменится другим патернализмом? Человеку нужны три сердца: одно для Бога, сердце чистое, для ближних —

сердце милостивое, и для себя — сердце строгое и острое. А у нас что на поверку? Все как всегда: задумывают революцию идеалисты, осуществляют прагматики, плодами пользуются негодяи. Нет, я не верю и в идею русской власти как тотема. «Русский ген» не фатален. В любом случае он не в индивидах. В иной социальной обстановке наши люди становятся вполне способными к горизонтальным

договорам и гражданскому поведению.

— У мамы инфарктное отношение к истории, — пацифистски встревает Санька.

— Главное в институте власти не качество, а ее сменяемость. А так что? Посадим на шею другого царя?! И загонят всех в новый угол! И будем мы сидеть рядом и писать письма друг другу в позе античного отчаянья?! Боясь издать лишний звук?! Безумство храбрых хорошо петь, когда веришь. А как мне быть? Кто меня услышит?

— Сахаров вообще говорил шепотом, — инакомысляще вставляет Санька с ложной старомодной задумчивостью.

— А самое страшное, знаете что? Они — это мы, наделенные властью…

— …Что ни сядем — на раскаленное железо, что ни встанем — на битое стекло…

— Я знаю, что делать, — говорит Санька, переливая из руки в руку елочное ожерелье. — Я почищу свой лучший цилиндр и насовсем покину дом, где всегда очень тихо и пахнет трава и потревоженная столетняя паутина. И руки у меня будут по локоть в муке, потому что мне это очень идет… Ну, родители, что у нас фейс такой пасторальный? Слабонервный — плохо, сильно нервный — тоже. Где выход? Как быть?

— Вот еще что, — продолжает она. — Продукты в Таганском УВД принимают только в фабричной упаковке. И рассчитывайте не только на меня — в тюрьме принято делиться.

Взрослые откладывают вилки.

— Ну раз до Саньки дело дошло, наша арестократическая гопота с аферистом на доверии пусть теперь клювом щелкает, — первой говорит мама.

— Надо знать эрогенные зоны коллективного бессознательного…

— Же-еня!

— Вот так, Марин, каждый раз проходят наши романтические свидания.

— Похоже, так проходят все свидания нашего времени.

Санька слышит про это со всех сторон: в трамвае, в очереди в кинотеатр, в художке, в школе, по радио, из обрывков, донесенных необычайно теплым декабрьским ветром:

… они хотят иметь дело только с нефтью и населением, а не с технологиями и гражданами!..

… вся реальная политика сводится к распилу денежных средств!..

… серьезный художник должен быть готов к серьезному разговору с властью — для танго нужны двое!..

… выборы — это только инструмент!..

… коррупционная хунта с бюджетом из средств налогоплательщиков, взяток, откатов, подпольных казино и контрафакта, наркоторговли и контрабанды!..

… власть и чужие деньги, распиханные по офшоркам!..

… в мировое сообщество интегрировалась только наша элита!..

И совсем новое, свежее, бодрящее: «Долой самодержавие!» и «Объединяйтесь же!»

А фонарик у подъезда соткал уже целый половичок.

Выходи гулять, Санька!

4

А ведь только год назад Саньке думалось так.

Вся надежда на машину времени.

Санька все-все продумала. Надо точнехонько попасть в 3 февраля 1863 года, на перекресток Литейной и Невского, что близ типографии Вульфа. Ах, нет, он же по дороге ее потеряет.

Тогда… все по порядку. Деньги скопировать — не велик труд. За жилье, за хлеб-квас. А случись деньги выйдут, если уж нельзя тютелька в тютельку день и час рассчитать, что

ж, так тому и быть, Санька согласна глухонемой юродивой прикинуться и милостыней пробедовать, сколько придется.

Но 3 февраля в час дня нужно быть в Санкт-Петербурге у гостиницы Демута. Взять извозчика и ехать за ним, в оба глаза глядя не мигаючи. А как выронит — выпадет, тут уж коршуном налететь.

И домой. Извозчик! Извозчик! Погоняй!

Поворот. Поворот. Повороты…

Наконец-то: по набережной канала в Гражданскую. Шаровой молнией. К себе, на четвертый этаж. И не затягивать — враз печурку растопить. Лист за листом, лист за листом — гори, грядущий хам! До основанья, а затем… Кто был ничем, тот станет всем, гори! Необыкновенные люди с их необыкновенными снами! Пылай, пахарь-оратай! «За одну ночь перепахал меня!» Чтоб гудело и выло за заслонкой. Паровозно. Празднично. Выдрано жало!

А назавтра номерок «Ведомостей С.-Петербургской полиции» купить, чтоб убедиться, дух перевести.

Вот оно, черным по белому: «П о т е р я р у к о п и с и. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Большой Конюшенной от гостиницы Демута до угольного Каера, а оттуда через Невский проспект, Караванную и Семеновский мост до дома Краевского на углу Литейной и Бассейной обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по краям рукописи с заглавием «Что делать?». Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского, к Некрасову, тот получит пятьдесят рублей серебром».

Вот и все.

Никто не доставит.

Можно возвращаться. К себе, в двадцать первый…

… А если не подгадаешь и раньше угодишь?! Вон, Санька читала, девятнадцатый-то век уже вовсю разогнался, а… в Казани что ли, кажется, в Казани, анатомию крамолой и ересью объявили и все, что было в анатомическом театре, местного батюшку заставили отпеть и похоронить.

Санька, когда свет выключит, у заснеженного окна стоит и так все представляет…

Отцу Василию здорово не спится. Он встает, снова кружит по комнате. Трогает на окнах белесые от предутренних сумерек занавески, рукавом ночной сорочки трет запотевшие стекла.

— …и не черезмерное. По заслугам-с… по заслугам-с, — подражая кому-то произносит он, указуя перстом в низкий потолок. — Темна водица в облацех… Ни зги… Ох-хо-хо, прости господи. И почему же я? Потому сие есть честь и доверие, — и крестит рот.

Снова садится на постель, взбивает препышные подушки.

— Квасцу испей, — спросонья подает голос матушка.

— Ну-ну, дремли, — он привычно похлопывает по крутому боку богом данную и с ногами забирается на высокую перину. — Темна вода в облацех. Суди нас, господи. Грехи невольные… Наставь и вразуми. Дело неслыханно, дело невиданно…

В ногах урчит потревоженный кот. Пред образами, перемигиваясь, теплятся лампадки.

Тихо. Дремно…

А что же днем?

Встревоженные вороны тучей срываются с купола, грают и черными хлопьями оседают в кружевных кронах кладбищенских лип. Заунывно выводит погребальный колокол. Облаченный в белое отец Василий хмурится, искоса бросает опасливый взгляд в сторону накрытой домовины…

Саньке смешно и грустно. Отпеть и похоронить. А уж к той поре Пирогов на поприще вступал.

И на себя теперь смешно, потому как знает Санька — ничего в прошлом изменить нельзя. И в этом высшая справедливость. Иначе жизнь потеряла бы смысл.

Да знает Санька, знает все и про кротовые норы — черные дыры, и про параллельные вселенные, и про закон физики для всего, и про «мы видим прошлое солнце», и про андрогенный коллайдер — вдруг да правда червоточину-мостик обнаружат?..

Но как-то вдруг и сразу словила, нутром ухватила — это счастье, что ничего в прошлом изменить нельзя. И в будущее соваться ни к чему. А вот служить ему всею силой — возможностью — достойно.

И опять — возлюби, как самого себя.

И не укради…

И не возжелай…

И человеком будь — не муравьем, муравьем черным, которого Господь не только видит на черном мраморе в самую черную ночь, но и слышит звук шагов его…

… Что ж это я? Еще подарки не вручены!..

5

Диво дивное, чудеса чудесатые — еще неделя пронеслась, как и не бывала...

… Oxicoccus microcarpus… oxicoccus microcarpus… клюква мелкоплодная… oxicoccus microcarpus. Rubus chamaemorus… э-э… rubus chamaemorus… морошка обыкновенная. Vaccinium mirtilis… еще раз… vaccinium mirtilis… черника… черника.

А вот Vaccinium vitis-idea — брусника, запомни, глупая голова, Vaccinium vitis-idea — брусника. И, наконец, Vaccinium uliginosum… Vaccinium uliginosum… это у нас … это у нас… голубика. Все правильно — голубика.

Что за гербарий? Этот гербарий, мама, называется чай для почек. Сочинение о каникулах? Конечно, помню. Но сегодня Рождество, давай заниматься, чем душа просит. Ты готовь ужин — по всему, уже звезды высыпали, а я расскажу тебе сказку, которую мне рассказывал старый волшебник Доцентус медикус.

Ну, слушай. Мочевые органы, organa urinaria. Парный орган бобовидной формы. Вещество ее с поверхности гладкое, темно-красного цвета. В почке различают верхний и

нижний концы, extremitas superior и inferior, края латеральный и медиальный, margo lateralis и medialis и поверхности, facies anterior и posterior. Почка окружена собственной фиброзной оболочкой, capsula fibrosa, в виде тонкой гладкой пластинки, непосредственно прилегающей к веществу почки. В норме она довольно легко может быть отделена от вещества почки. Снаружи от фиброзной оболочки, особенно в области hilum и на задней поверхности, находится слой рыхлой жировой ткани, составляющий жировую капсулу почки capsula adipose; на… Что? С молоком? Нет, я же сливок к празднику купила. Как ты любишь, 22 процента. Перелей лучше в цветистый молочник… А… и что? Сахар? Давай на пробу и коричневый,

и фруктовый…

…Так вот… на передней поверхности жир нередко отсутствует. Снаружи от жировой капсулы располагается соединительнотканная фасция почки, fascia renalis, которая связана… которая связана… я не подглядываю… Ну и запах от твоего яблочного штруделя! …Которая — так уж и быть — связана волокнами фиброзной капсулой и расщепляется на два листка: один идет спереди почек, другой — сзади. По латеральному краю почек оба листка не соединяются вместе, а продолжаются дальше к средней линии порознь: передний листок идет впереди почечных сосудов, аорты и нижней полой вены и соединяется с таким же листком противоположной стороны…

…Я не прыгаю… Просто смотрю время… С чего ты взяла? Никого я не жду. Хотя… да — жду. Зайдет… один… За фильмом. Я обещала … Лени Рифеншталь. Толстая священная корова она у священной горы… полный парадиз восторженной девы. А он должен SOS Айсберг посмотреть. Ну хорошо, не должен, хорошо бы было, если бы посмотрел! Так лучше?.. Ты знаешь, мама, у него от волос — коричный запах… И любимая нечистая сила тоже Пугачев… Ведь так не бывает? Скажи — не бывает?.. Познакомились? На курсах. Он экстернат заканчивает, потому что считает, что протяженность школьной программы избыточна, как пятнадцать финских падежей. Хотя это спорно… И знаешь, он умеет и говорить, и слушать… И не считает свое восприятие мира окончательным… И понимает мой почерк. Да, мою тайную клинопись… И принесет мне пьесы Гавела…

…Ну ладно, дальше… задний же листок проходит спереди от тел позвонков, прикрепляясь к последним. У верхних концов почек, охватывая также надпочечники, оба листка соединяются вместе, ограничивая подвижность почек в этом направлении. У нижних концов подобного слияния листков обычно незаметно. Фиксацию почки на своем месте осуществляет главным образом внутрибрюшное давление, обусловленное сокращением мышц брюшного пресса… Мам, как он позвонит, ты откроешь, а дальше я сама. Нет, лучше ты, мамочка, открой… Да-да, потом я, именно так — из-за кулис…

в меньшей степени fascia renalis, срастающаяся с оболочками почки; мышечное ложе почки…

ложе почки…

— Саньк, прав был гений?

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,

Und grun des Lebens goldner Baum.*

— Да, мама, да… Рождество! Мы попьем чаю и пойдем мерить лужи. Ну хорошо, сначала помечтаем. Загадаем что-нибудь.

— На жарком Востоке, средь гор и пустыни, лежит Святая земля… Мам, давай в рифму! Дальше… В той древней стране, известной нам всем, есть небольшой городок…

— Вифлеем!

— Умница, мама. Когда-то туда по приказу царя пришла записаться Иисуса…

— Семья!

— В яблочко! Сейчас имена их известны всем в мире: плотник Иосиф и дева…

— Мария!

— Все так… Весь город Иосиф с Марией прошли, но все же приюта себе…

— Не нашли.

— И только лишь в поле пещера с скотом им заменила временный…

— Дом.

— Это через две тыщи лет и назвали миграцией. В той самой пещере, немного спустя, у девы Марии родилось…

— Дитя!

— Вот такой вот happy end.

— Ну да, — говорит Марина-мама, — когда надежды нет, остается только идти, хотя в конце так и не можешь понять, как удалось уцелеть на этой дороге…

— Давай выключим свет… Верующий видит то, что невидимо…. Мы будем запасать на зиму дрова… собирать грибы… и нанизывать их на нитку… носить лукошками лесную малину, чтоб зимой пить с вареньем чай, слушать вой в трубе… и ожидать заветного гостя…

— Пока не потребует к ответу пуговичник.

— Пока не потребует к ответу пуговичник… А сочинение?.. ты не переживай… я напишу. Я напишу, как ездила в Бразилию. Почему — в Бразилию? Потому что про то, как ездила в Аргентину, я уже писала в прошлом году…

Да, конечно, я слышу — звонят…

Нам звонят… Лучше я

сама открою, мама…

_____

*Суха, мой друг, теория везде,

Но древо жизни пышно зеленеет.

Иоганн Вольфганг Гете

Фауст (*перевод Н.А. Холодковского*)